

# Я ВСПОМИНАЮ ...

## НЕСКОЛЬКО СЛОВ О СЕБЕ

Я родился в среднеинтеллигентской семье. Мой отец был инженер-электрик, добившийся высшего электротехнического образования только благодаря своей энергии и работоспособности. Уже в старших классах реального училища он зарабатывал себе на жизнь репетиторством, а в студенческие годы — и преподаванием в реальном училище Шкловского, отца известного литературоведа В. Б. Шкловского.

Известную роль сыграло для меня увлечение моих родителей Мариинским балетом, а затем озорная и увлекательная атмосфера артистической молодежи в дешевой дачной местности, под Петербургом — Куоккале. Имена многих знаменитых художников, актеров, писателей, живших в Куоккале или только посещавших ее, были для меня живыми и повседневными. Многим в своем воспитании я обязан школам, в которых учился. В старшем пригготовительном классе я учился в гимназии Человеколюбивого общества на Крюковом канале.

## ГИМНАЗИЯ И РЕАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ

К. И. МАЯ

В 1915 году я поступил в Гимназию и реальное училище К. И. Мая на 14-й линии Васильевского острова. К этому времени мой отец получил в заведование электрическую станцию при Главном управлении почт и телеграфов и казенную квартиру при этой станции. День и ночь квартира наша содрогалась от действия паровой машины. Сейчас этой станции и в помине нет. Двор пустой, нет и нашей квартиры. Но тогда посещение станции доставляло мне большое удовольствие. Громадное колесо вращалось поршнем, оно блестело от масла, было необычайно красивым. В школу Мая мне надо было ездить на трамвае, но пробиться в трамвай было чрезвычайно трудно: площадки были заполнены солдатами («нижними чинами», как их называли). Им разрешалось ездить бесплатно, но только на площадках вагонов.

Жили мы рядом с Конногвардейским бульваром, и я наслаждался тогда вербными базарами, где можно было потолкаться около букинистических ларьков, купить народные игрушки и игрушки специально вербные (вроде чертей на булавах для прикалывания к пальто, акробатов на трапециях, «тещиных языков» и пр.), полакомиться вербными кушаньями. Вербная неделя была лучшей неделей для детей в старом Петрограде, и именно здесь можно было почувствовать народное веселье и красоту народного искусства, привозимого сюда из всего Заонежья.



Ведь Петербург-Петроград не только стоял лицом к Европе, что ощущалось прежде всего в его пестром населении (немцы, французы, англичане, шведы, финны, эстонцы наполняли собой и школу К. И. Мая), но за его спиной находился весь Русский Север с его фольклором, народным искусством, народной архитектурой, с поездками по рекам и озерам, близостью к Новгороду и пр.

О Гимназии и реальном училище К. И. Мая написано много. Не буду повторять всего того хорошего, что о школе уже сообщалось, отмечу только, что школа эта сыграла большую роль в моей жизни. Я чувствовал себя там прекрасно и, если бы не трудности дороги, не мог бы и желать лучшего.

Я вырослел и был как раз в таком возрасте, когда особенно тяжело переживаются военные неудачи. Обсуждение военных неудач и всех возмутительных неурядиц в правительстве и в русской армии занимали изрядное место в вечерних семейных разговорах, тем более что все происходившее было как будто тут же, рядом. Распутин появлялся в ресторанах и домах, которые я видел, мимо которых гулял; солдат обучали совсем рядом на любой свободной площади; спектакли начинались с томительного исполнения всех гимнов союзных России держав и прежде всего с бельгийского гимна «Барбансон». Национальное чувство и ущемлялось, и подогревалось. Я жил известиями с театра военных действий, слухами, надеждами и опасениями.

Школа К. И. Мая наложила сильный отпечаток и на мои интересы, и на мой жизненный, я бы

сказал мировоззренческий, опыт. Класс был разношерстный. Учились и внук Мечникова, и сын банкира Рубинштейна, и сын швейцара. Преподаватели тоже были разные. Старый майский преподаватель М. Г. Горохов обучал нас два года перспективе почти как точной науке; преподаватель географии изумительно рассказывал о своих путешествиях и по России, и за границей, демонстрируя диапозитивы; библиотекарь умела порекомендовать каждому свое. Я вспоминаю те несколько лет, которые я провел у Мая, с великой благодарностью. Даже почтенный швейцар, который приветствовал нас по-немецки, а прощался по-итальянски, учил нас вежливости собственным примером, — как много все это значило для нас, мальчиков!

Учителя не заставляли нас выдавать «зачинщиков» шалостей, разрешали на переменах играть в шумные игры и возиться. На уроках гимнастики мы главным образом играли в активные игры — такие, как лапта, горелки, хэндбол (ручной мяч).

На школьные каникулы выезжали всей школой в какое-то имение на станцию Струги-Белые по дороге на Псков.

Мы выпускали разные классные журналы и даже писали и размножали собственные сочинения в духе повестей Буссенара и Луи Жаколио без преподавательского надзора.

Я жалею, что не мог ходить на все вечерние занятия и школьные кружки, — уж очень трудная была дорога в переполненных трамваях.



## УРОКИ РИСОВАНИЯ

Уроки рисования в школе Мая вел наш классный наставник Михаил Григорьевич Горохов. Он всегда входил в класс серьезный, как бы «выполняющий высокий долг» (а долг его и в самом деле был высоким). Часто читал нам нотации. Учил нас корректности в обращении друг с другом, манере держаться. Помню, что ставил нам в пример учеников старших классов, в частности ученика старших классов Игоря Ивановича Фомина, впоследствии архитектора.

Но самыми удивительными были уроки рисования М. Г. Горохова. Два года мы проходили с ним перспективу. По его проекту был создан в новом здании школы Мая кабинет для уроков рисования. Там были удобные пюпитры, на которые мы накалывали бумагу для рисунков. Со всех мест было хорошо видно натуру, а натура состояла для уроков перспективы главным образом из проволочных каркасов. Перспектива была точнейшая наука, учившая нас думать. Уроки перспективы были сродни урокам геометрии. С тех пор я умею замечать ошибки в перспективе.

И вместе с тем уроки рисования были уроками труда, ручного труда, они учили уметь работать руками. Даже стирать резинкой неверно нанесенную карандашную линию надо было уметь. И этому Михаил Григорьевич нас тоже учил. А что стоили походы с ним на выставки, хотя принимать участие в этих походах мне приходилось редко.

## УМНЫЙ «РУЧНОЙ ТРУД»

В годы первой мировой войны в школе Мая был введен урок ручного труда. Чем это диктовалось, я не знаю. Но воспитательное значение он имел очень большое.

Сравнительно молодой столяр говорил нам: «Когда работаешь, надо думать». Я это запомнил. Он учил нас, как без гвоздей делать различные деревянные поделки — полки, рамки, табуретки, как делать различные сочленения, чтобы вещь крепко держалась без гвоздей, как выбирать дерево для работы, как обходить сучки, как работать рубанком, полировать. Закончив один какой-то прием, мы переходили к другому.

«Ручной труд», так назывался урок, был уроком творчества. От менее сложных приемов мы переходили к более сложным. И хотя в классе было много детей работников отнюдь не ручного труда — уроки эти нам нравились. Единственное, что нам мешало, это то, что нас было много: человек двадцать, а нашему преподавателю надо было показывать каждому в отдельности.

Объяснив нам все приемы работы, преподаватель ручного труда подходил к каждому из нас (верстаков и столярных инструментов было много) и каждому показывал отдельно — как держать инструмент, как им работать. Многие, конечно, понимали не сразу, стояли и ожидали, пока к ним подойдет наш милый интеллигентный рабочий-столяр.

Ручной труд был трудом умственным и давал нам радость овладения новым.



Само собой, что сделанные нами полочки, коробочки и скамейки мы уносили домой, и сделанным нами гордилась вся семья.

## ВНЕШНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Ни моя семья, ни я, одиннадцатидвенадцатилетний мальчик, разумеется, ничего толком не понимали, что происходит, и происходит почти на наших глазах, так как жили мы на Новоисаакиевской улице вблизи Исаакиевской площади. Семья слабо разбиралась в политике.

Когда в первые дни февральской революции «гордовики» (так называли в Петрограде городских) захватили вышку Исаакиевского собора и чердаки гостиницы «Астория» и оттуда обстреливали любую собиравшуюся толпу, мои родители возмущались «гордовиками» и боялись приблизиться к этим местам. Но когда «гордовиков» стащили с их позиций и разъяренная толпа убивала их, родители возмущались жестокостью толпы, не особенно входя в дальнейшее обсуждение событий.

Когда мы с отцом ходили на Невский, чтобы посмотреть на полки, непрерывно и, по-видимому, без особой цели маршировавшие под оркестры, звуки маршей поднимали нам настроение, но когда эти же полки шли нестройными рядами, мы огорчались, ибо помнили, с каким блеском шел до войны Конногвардейский полк по воскресеньям в свою полковую Благовещенскую церковь, с каким балетным искусством вышагивал впереди командир пол-

ка — полковник из русских немцев, как блестяли кирасы и каски, как лихо крутил палку тамбурмажор перед оркестром.

Да и до революции, когда мы с отцом гуляли по Большой Морской и видели, как строят дом и носят тяжести на своих спинах обутые в лапти (чтобы не скользить) крестьяне, приехавшие в город на заработки, я почти задыхался от жалости и вспоминал с отцом «Железную дорогу» Некрасова. То же самое происходило на любой набережной в местах, где разрешалось разгружать барки с кирпичом и дровами. Здоровые кáтали, чтобы взобраться по узким доскам, перекинутым с бортов барж на набережную, вкатывали быстро-быстро, не останавливаясь, свои тачки с тяжеленным грузом. Мы жалели кáталей, старались представить себе, как они живут в отрыве от семей на этих барках, как замерзают по ночам, как тоскуют по своим детям, ради которых они, в сущности, и зарабатывали свой хлеб тяжелым трудом. Но когда эти же бывшие грузчики и носильщики, мастеровые и мелкие служащие пошли по бесплатным билетам на балет в Мариинский театр и заполнили собой партер и ложи, родители жалели о былом бриллиантовом блеске голубого Мариинского зала. Единственное, что на тех представлениях радовало родителей, — это то, что балерины танцевали не хуже прежнего. Спесивцева и Люком были так же великолепны, раскланивались перед новой публикой так же, как и перед старой. А ведь как это было замечательно! Какой урок уважения к новому зрителю давал нам всем тогдашний театр!



## ЖИЗНЬ В ПЕРВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТИПОГРАФИИ

Отец был рад и горд, когда рабочие электрической станции в Первой государственной типографии (теперь это Печатный Двор) выбрали его своим заведующим. Мы переехали с Новоисаакиевской в центре Петрограда на казенную квартиру при типографии на Петроградской стороне. Это была осень 1917 года. События Октябрьской революции оказались как-то в стороне от меня. Я их плохо помню.

Жизнь в типографии меня во многом воспитала.

Типографии я обязан своим интересом к типографскому делу. Запах свежееотпечатанной книги для меня и сейчас — лучший из ароматов, способный поднять настроение. Я свободно ходил по типографии, знакомился с наборщицами, носившими длинные волосы (прическа эта называлась «марксистка»), часто писавшими стихи, считавшими себя среди рабочих интеллигентами и гордившимися своей работой. Отец постепенно стал специалистом по типографским машинам. Вскоре после революции для типографии были закуплены за рубежом новые печатные машины, в которых отец один и смог разобраться.

Типография имела большой театральный зал, где для рабочих и служащих выступали лучшие певцы и актеры города и даже однажды происходил публичный диспут на тему: «Есть бог или нет» между А. В. Луначарским и митрополитом Александром Введенским... Помню парадоксы того времени: толпа верующих после диспута хотела побить именно митропо-

лита, и отец по просьбе начальства спасал его через нашу квартиру, выведя на другую улицу через наш черный ход.

Жизнь в типографии многому меня научила, многое раскрыла, объяснила. Но может быть, не последнюю роль сыграло и то, что на некоторое время отец получил на хранение библиотеку директора ОГИЗа — небезызвестного в тогдашних литературных кругах Ильи Ионовича Ионова. В его библиотеке были эльзевирьы, альдины, редчайшие издания XVIII века, собрания альманахов, дворянские альбомы. Библия Пискатора, роскошные юбилейные издания Данте, издания Шекспира и Диккенса на тончайшей индийской бумаге, рукописное «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева, книги из библиотеки Феофана Прокоповича, множество книг с автографами современных писателей (запомнились письма-надписи на сборниках стихов С. Есенина, А. Ремезова, А. Н. Толстого и т. д.). Получил отец в подарок и некоторые вещи — посмертную маску, снятую Манизером с Александра Блока. (Маска эта пропала.)

Библиотека была получена нами при следующих обстоятельствах. У нас была на Печатном Дворе огромнейшая казенная квартира, по которой мы с братом катались даже на велосипеде. И. И. Ионов получил назначение торгпредом в США и, зная честность отца, наличие у него большой квартиры, свез основную часть своей библиотеки к нам. Возвратился Ионов уже не в Ленинград, а в Москву. Отец немедленно по возвращении его погрузил все книги в контейнеры и отправил их в Москву.



Несколько лет существования великолепной библиотеки в нашей квартире не прошли для меня даром. Я рылся и рылся в ней, читал, смотрел, любовался изданиями и рукописями, гравюрами и фотографиями с памятников искусства. Мне не хватало образования, иначе я еще больше смог бы получить для себя от этой необыкновенной библиотеки. На многое я просто не обратил внимания.

Сам И. И. Ионов не имел систематического образования. В Одессе, еще гимназистом, он был арестован царским правительством и получил пожизненное заключение, которое и провел в Шлиссельбургской тюрьме, откуда вышел глубоко больным человеком и с невероятными провалами в образовании, за что над ним насмеялись многие, не зная, что при всем этом он был начитан в самых неожиданных областях, так как имел возможность в тюрьме получать книги.

## ШКОЛА ЛЕНТОВСКОЙ

Первое время после переезда в казенную квартиру на Петроградской стороне я продолжал учиться в школе Мая. В ней я пережил самые первые реформы школы, переход к трудовому воспитанию, к совместному обучению мальчиков и девочек (к нам в школу перевели девочек из соседней школы Шаффе) и т. д. Но ездить в школу в переполненных трамваях стало совершенно невозможно, ходить пешком — еще труднее, так как сложности в тогдашнем Петрограде с едой были страшными. Меня

перевели поблизости в 190-ю советскую трудовую школу имени Лентовской на Плуталовой улице Петроградской стороны. И снова я попал в замечательное училище.

Сравнительно со школой Мая «Лентовка» была бедна оборудованием и помещениями, но была поразительна по преподавательскому составу. Школа образовалась спустя несколько лет после революции 1905 года из числа преподавателей, изгнанных из казенных гимназий за революционную деятельность. Их собрала театральная антрепренер Лентовская, дала денег и организовала частную гимназию, куда сразу стали отдавать своих детей левонастроенные интеллигенты. У директора — Владимира Кирилловича Иванова — в его кабинете была библиотечка революционной марксистской литературы, из которой он секретно давал читать книги заслуживающим доверия ученикам старших классов.

Между учениками и преподавателями образовалась тесная связь, дружба, «общее дело». Учителям не надо было наводить дисциплину строгими мерами. Учителя могли постыдить ученика, и этого было достаточно, чтобы общественное мнение класса было против провинившегося, и озорство не повторялось. Нам разрешалось курить, но ни один из аборигенов школы этим правом не пользовался.

Об одном из преподавателей этой школы — Леониде Владимировиче Георге — я написал в отдельном очерке. Но мог бы написать и о многих других: Александре Юльевиче Якубовском (нашем преподавателе истории, будущем известном востоковеде), Татьяне Александр-



ровне Ивановой (преподавателе географии) и о многих других.

Школа была близко, и я постоянно посещал различные кружки, главным образом кружки литературы и философии, в занятиях которых принимали участие и многие «взрослые». Об одном из таких участников наших кружков — Евгении Павловиче Иванове, друге Александра Блока, — я немного написал в статье «Из комментария к стихотворению А. Блока «Ночь; улица, фонарь, аптека...».

Один летний месяц имел огромное значение для формирования моей личности, моих интересов и, я бы сказал, моей любви к Русскому Северу: школьная экскурсия в 1921 году по Мурманской железной дороге в Мурманск, оттуда на паровой яхте в Архангельск вокруг Кольского полуострова по Белому морю, на пароходе по Северной Двине до Котласа и оттуда по железной дороге в Петроград.

Эта двухнедельная школьная экскурсия сыграла огромную роль в формировании моих представлений о России, о фольклоре, о деревянной архитектуре, о красоте русской северной природы.

Путешествовать по родной стране нужно как можно раньше и как можно чаще. Школьные экскурсии устанавливают добрые отношения с учителями и вспоминаются потом всю жизнь.

## О РИСОВАНИИ В ШКОЛЕ ЛЕНТОВСКОЙ

В Гимназии и реальном училище К. И. Мая, где я учился в 1915—1918 годы, был замечательный преподаватель рисования — Михаил Григорьевич Горохов, я уже об этом говорил. Когда родители перевели меня в школу Лентовской, преподавателем рисования у нас стал Павел Николаевич Андреев — брат писателя Леонида Андреева. Его методика преподавания была совсем другой. В классе, где стояли большие столы, он раздал нам огромные куски обоев и на обратной, белой стороне их предложил писать толстыми кистями «вольные композиции»: зиму, лето, весну, осень.

Не помню, какое время года выбрал я, но отчетливо помню, как он подошел ко мне и сказал: «Ну вот, небо непременно синее! А Вы (к ученикам в то время обращались уважительно) попробуйте нарисовать его светло-зеленым, светло-розовым. Ведь и снег не бывает чисто белым». Я закрасил небо светло-зеленой краской и только тут впервые прикоснулся к тому — что такое живопись.

## О МОЕМ УЧИТЕЛЕ

Леонид Владимирович Георг принадлежал к тем лучшим старым учителям словесности в наших гимназиях и реальных училищах XIX и начала XX веков, которые были подлинными «властителями дум» своих учеников



и учениц, окружавших их то серьезной любовью, то «девчоночьим» обожанием.

Именно эти старые учителя словесности формировали не только мировоззрение своих учеников, но воспитывали в них вкус, добрые чувства к народу, интеллектуальную терпимость, интерес к спорам по мировоззренческим вопросам, иногда интерес к театру (из московских театров Леонид Владимирович любил Малый театр), к музыке.

Леонид Владимирович обладал всеми качествами идеального педагога. Он был разносторонне талантлив, умен, остроумен, находчив, всегда ровен в обращении, красив внешне, обладал задатками актера, умел понимать молодежь и находить педагогические выходы в самых иногда затруднительных для воспитателя положениях.

Расскажу об этих его качествах.

Его появление в коридоре, на перемене, в зале, в классе, даже на улице было всегда заметно. Он был высок ростом, с лицом интеллигентным и чуть насмешливым, но при этом добрым и внимательным к окружающим. Белокурый, со светлыми глазами, с правильными чертами лица, он сразу привлекал к себе. На нем всегда хорошо сидел костюм, хотя я никогда не помню его в чем-либо новом: времена были тяжелые (я учился у него в 1918—1923 годах), и где было взять это новое на скромное учительское жалованье!

Мягкость и изящество в нем доминировали. Ничего агрессивного не было и в его мировоззрении. Ближе всего он был к Чехову — его любимому писателю, которого он чаще всего читал нам на

своих «заместительских уроках» (то есть уроках, которые он давал вместо своих часто хворавших тогда товарищей-педагогов).

Эти «заместительские уроки» были его маленькими шедеврами. Он приучал нас на этих уроках к интеллектуальному отношению к жизни, ко всему окружающему. О чем только не говорил он с нами на них! Он читал своих любимых писателей: по преимуществу я помню его чтение «Войны и мира», пьес Чехова («Чайка», «Три сестры», «Вишневый сад»), рассказов Мопассана, былин «Добрыня Никитич» и «Соловей Будимирович» («Добрыню Никитича» Леонид Владимирович читал и на родительском собрании для родителей — их он также «воспитывал»), «Медного всадника», «Жизнь Званской...» Державина... Всего не перечислишь:

Леонид Владимирович приходил в класс с французскими текстами и показывал нам, как интересно учить французский язык: он разбирал рассказы Мопассана, рылся при нас в словарях, подыскивал наиболее выразительный перевод, восхищался теми или иными особенностями французского языка. И уходил из класса, оставляя в нас любовь не только к французскому языку, но и к Франции. Стоит ли говорить, что все мы после этого начинали, как могли, изучать французский. (Это было весной, и помню, что я все лето потом занимался только французским...)

На иных из своих «заместительских уроках» он рассказывал нам о том, как слушал народную сказительницу Кривополенову, показывал, как она пела, как говорила, как делала во время



пения свои замечания. И мы вдруг начинали понимать эту русскую бабушку, любить ее и завидовали Леониду Владимировичу, что он ее видел, слышал и даже разговаривал с ней. Но самыми интересными темами «заместительских уроков» были темы о театре. Еще до выхода в свет знаменитой книги К. С. Станиславского «Моя жизнь в искусстве» Леонид Владимирович рассказывал нам о теории Станиславского, последователем которой он был не только в своей актерской практике, но и в педагогике. Его рассказы о постановках и знаменитых актерах как-то органически переходили в занятия по той или иной пьесе, которую он великолепно ставил с учениками в школе. «Маленькие трагедии» Пушкина были его огромным успехом, не только как педагога, не только как великого режиссера (я не побоюсь назвать его именно «великим»), но и как художника-декоратора. Вместе с помогавшими ему учениками он создавал из цветной бумаги необычайно лаконичные декорации к своим постановкам. Помню в «Каменном госте» черные или какие-то очень темные (зеленые? синие?) кипарисы, в виде остроконечных конусов, белую колонну в каком-то интерьере, тоже вырезанную из бумаги, которую мой отец добывал ему из «отходов» на Печатном Дворе, где мы тогда жили. Помню, как он воспитывал в своих учениках актеров. Это был именно его прием — прием режиссера-воспитателя. Он заставлял своих актеров носить костюм роли в обыденной жизни. На уроках сидел Дон Гуан, загримированный, в испанском костюме и со шпагой, сидела Дона Анна в длинном платье. А на переменах они

гуляли и даже бегали, но только так, как должны были бы бегать Дон Гуан или Дона Анна в какой-то сложной воображаемой ситуации (актер должен был играть все время, но если он хотел порезвиться или сделать что-либо необычайное для своей роли, он обязан был придумать мотивировку, создать себе соответствующую «ситуацию»). Носить платье Леонид Владимирович учил прежде всего. Прежде, чем входить в роль. Актер должен был чувствовать себя совершенно свободно в плаще, в длинной юбке, свободно играть шляпой, уметь ее небрежно бросить на кресло, легко выхватить шпагу из ножен. Незаметно Леонид Владимирович следил за таким костюмированным учеником и умел его поправить одним или двумя замечаниями, сделанными всегда тактично и с не обидным юмором.

Леонид Владимирович был поклонником психолога Джемса. Помню, как хорошо объяснил он нам положение Джемса: «Мы не оттого плачем, что нам грустно, но потому грустно, что мы плачем». И это положение он сумел применить в своей педагогической практике. Одному крайне застенчивому мальчику он предложил изменить походку. Сказал ему, чтобы он двигался быстрее, делал шире шаги и непременно размахивал руками, когда ходил. Встречая его на перемене, он часто говорил ему: «Машите руками, машите руками». Кстати, он обращался к ученикам на «вы», как это было принято в старых гимназиях, и редко отступал от этого правила.

Он воспитывал в своих учениках самоуважение и требовал от них уважения к другим, к своим



товарищам. Разбирая какое-нибудь происшествие в классе, он никогда не требовал, чтобы ему выдали зачинщика или виновника. Он добивался того, чтобы провинившийся сам назвал себя. Выдать товарища было для него недопустимым, как, впрочем, и для всех хороших педагогов старого времени.

Когда я учился в Лентовке, у Леонида Владимировича был тенор. Впоследствии у него «открылся» баритон, и, по общему мнению, довольно хороший. В те времена почти в каждом классе стоял рояль, из реквизированных у «буржуев». Леонид Владимирович подходил к роялю и показывал нам на нем то особенности музыкального построения фраз у Чайковского, которого он очень любил (в те времена было модно не любить Чайковского, и Леонид Владимирович посмеивался над этой претенциозной модой), то тот или иной мотив былины (помню, как он пел зачин к былине «Соловей Будимирович», рассказывая об использовании этой былины в опере «Садко» Н. А. Римского-Корсакова).

С дурными привычками или с безвкусицей в одежде учениц Леонид Владимирович боролся мягкой шуткой. Когда наши девочки повзрослели и стали особенно тщательно следить за своими прическами и походкой, Леонид Владимирович, не называя никого из них по имени, рассказывал нам, что происходит в этом возрасте, как девочки начинают ходить, покачивая бедрами (и рискуя, по его словам, получить «вывих таза», им, конечно, придуманный) или устраивая себе кудельки, и в чем состоит вкус в одежде. Он даже читал нам в классе о Дж.

Бреммеле из книги поэта-символиста М. Кузьмина «О дендизме», но не для того, чтобы восславить дендизм, а скорее для того, чтобы раскрыть нам сложность того, что может быть названо красивым поведением, хорошей одеждой, умением ее носить, и еще, я думаю, для того, чтобы вышутить фатовство и пижонство у мальчишек.

Как много лет прошло с тех пор, но как много запомнилось из его наставлений на всю жизнь! Впрочем, то, что он говорил и показывал нам, нельзя назвать наставлениями. Все было сказано ненамеренно, при случае, шутливо, мягко, «по-чеховски».

В каждом из учеников он умел открыть интересные стороны — интересные и для самого ученика, и для окружающих. Он рассказывал об ученике в другом классе, и как было интересно узнать потом об этом от других! Он помогал каждому найти себя: в одном он открывал какую-то национальную черту (всегда хорошую), в другом — нравственную черту (доброту или любовь к «маленьким»), в третьем — вкус, в четвертом — остроумие, но не просто выделял чье-то остроумие, а умел охарактеризовать особенность этого остроумия: «холодный остряк», «украинский юмор» (и непременно с пояснением, в чем состоит этот украинский юмор), в пятом открывал философа.

Для самого Леонида Владимировича не было кумиров. Он с увлечением относился к самым разнообразным художникам, писателям, поэтам, композиторам, но его увлечения никогда не переходили в идолопоклонство. Он умел ценить искусство по-европейски. Пожа-



луй, самым любимым его поэтом был Пушкин, а у Пушкина — «Медный всадник», которого он как-то поставил с учениками. Это было нечто вроде хоровой декламации, которая была поставлена как некое театральное представление, главным в котором был текст, пушкинское слово. На репетициях он заставлял нас думать — как произнести ту или иную строфу, с какими интонациями, паузами. Он показывал нам красоту пушкинского слова. И одновременно неожиданно показывал нам и пушкинские «недоделки» в языке.

Вот пример, запомнившийся мне с тех времен. «Нева всю ночь // Рвалася к морю после бури, // Не одолев их буйной дури... // И спорить стало ей невмочь...»

Начинался спор, почему буря в другой строке стоит во множественном числе.

Такие же недоделки, если не ошибки, умел он найти в самых известных произведениях живописи, скульптуры, музыки. Он говорил как-то, что у Венеры Милосской ноги чуть короче, чем следует. И мы это начинали видеть. Разочаровывало ли нас это? Нет, наш интерес к искусству только возрастал.

В школе Леонид Владимирович организовал самоуправление, был создан так называемый КОП (Комитет общественных предприятий). Я почему-то очень был против этой «лицемерной», как мне казалось, затеи. Я доказывал в классе, что настоящего самоуправления быть не может, что КОП не годится и как некая игра, что все эти заседания, выборы, выборные должности только напрасная потеря времени, а нам надо готовиться поступать в вуз. Я как-то стал

вдруг действовать против Леонида Владимировича. Моя любовь к нему почему-то перешла в крайнее раздражение против него. Весь класс наш отказался принимать участие в КОПе. Мы не ограничились этим, но агитировали и в других классах против КОПа. Леонид Владимирович сказал по этому поводу моему отцу: «Дима хочет показать нам, что он совсем не такой, каким представлялся раньше». Леонид Владимирович был явно сердит на меня. Но в класс он к нам пришел, как всегда, спокойный и чуть-чуть насмешливый и предложил высказать ему все наши мысли по поводу КОПа, внести свои предложения. Он терпеливо выслушал все, что мы думали о КОПе, и нам не возражал. Он только спросил: что же мы предлагаем? К позитивной программе мы были совершенно не готовы. И Леонид Владимирович помог нам. Он обратил внимание на те наши высказывания, где мы признавали, что в школе некому выполнять тяжелые работы, некому пилить дрова, некому таскать рояли (почему-то приходилось часто переносить рояли из одного помещения в другое). И он предложил: пусть класс не входит в КОП, пусть он будет организован так, как хочет, или даже не организован вовсе. Но пусть класс помогает школе в тяжелой работе, на которую нельзя нанять людей со стороны. Это оказалось для нас приемлемым. Конечно, мы были в школе самые старшие и самые сильные; конечно, мы не могли допустить, чтобы девочки из младших классов выполняли за нас трудные работы. Мы будем все это делать, но мы не хотим никакой организации. Леонид Владими-



рович сказал на это: «Но назвать вас все же как-то надо?» Мы согласились. Он тут же предложил: «Давайте без претензий: «Самостоятельная группа». Или короче: «Самогруппа». Мы согласились и на это. Таким образом незаметно для нас он прекратил весь наш «бунт». И мы вошли в школьное самоуправление как его очень важная и действительно ценная часть.

Жил Леонид Владимирович тяжело. Педагоги получали тогда очень мало. Иногда устраивались в их пользу концерты. Леонид Владимирович долго отказывался, но однажды и в его пользу пришли в школу играть знакомые ему актеры.

Приходилось ему и читать лекции в совсем непривычной аудитории. Однажды в Ольгине, где мы жили на даче, появились объявления о том, что будет дан концерт из произведений Чайковского, а вступительную лекцию прочтет Л. В. Георг. Концерт был в жалком театральном помещении, которое не использовалось с 1915 года. Слушатели явно не понимали лекции, и нам было очень жаль Леонида Владимировича.

Вскоре после моего окончания школы он заболел, кажется сыпным тифом. Болезнь испортила сердце. Я встретил его в трамвае, и он мне показался потолстевшим. Леонид Владимирович сказал: «Не располнел, а распух, распух я!»

Затем наступила пора, в которой Леонид Владимирович являлся нам, его ученикам, только в воспоминаниях. Более полувека помню я его так ясно, как никого из других своих учителей. Помню его высокий, очень красивый лоб...

А вот другой мой воспитатель — домашний, звали его Катериношкой.

Единственное, что сохранилось от Катериношки, — фотография, на которой она снята с моей бабушкой, Марией Николаевной Коняевой. Фотография плохая, но характерная. Обе смеются до слез. Бабушка просто смеется, а Катериношка и глаза закрыла, и видно, что слова вымолвить не может от смеха. Я знаю, отчего обе так смеются, но не скажу... Не надо!

Кто снял их во время приступа такого неудержимого смеха — не знаю. Фотография любительская, и в нашей семье она давно-давно. Катериношка нянчила мою мать, нянчила моих братьев. Мы хотели, чтобы помогла она нам и с нашими «рунчиками» — Верочкой и Милочкой, но что-то ей помешало. Помех у нее, притом неожиданных, было немало.

Помню, что в детстве жила она в Тарасовом в одной со мной комнате, а было мне тогда лет шесть, и я открыл тогда впервые, к своему удивлению, что у женщин есть ноги. Юбки носили такие длинные, что видна была только обувь. А тут по утрам за ширмой, когда Катериношка вставала, появлялись две ноги в толстых чулках разного цвета (чулок все равно под юбкой не было видно). Я смотрел на эти разноцветные чулки, появлявшиеся передо мной до щиколоток, и удивлялся.

Катериношка была как родная и для нашей семьи, и для семьи моей бабушки по матери. Чуть что нужно — и появлялась в семье Катериношка: заболит ли кто серьезно и нужно ухаживать,



ожидается ли ребенок и нужно готовиться к его появлению на свет — шить свивальнички, подгузнички, волосяной (нежаркий) матрасик, чепчики и тому подобное, заневестилась ли девушка и нужно готовить ей приданое — во всех этих случаях появлялась Катеринушка с деревянным сундучком, устраивалась жить и, как своя, вела всю подготовку, рассказывала, говорила, шутила, в сумерки пела со всем семейством старинные песни, вспоминала про старое.

В доме с ней никогда не было скучно. И даже когда кто-нибудь умирал, она умела внести в дом тишину, благопристойность, порядок, тихую грусть. А в благополучные дни она играла и в семейные игры — со взрослыми и детьми — в лото цифровое (с бочоночками), причем выкликавая цифры, давала им шуточные названия, говорила приговорками и поговорками (а это не одно и то же — приговорок сейчас никто не знает, фольклористы их не собирали, а они часто бывали «заумными» и озорными в своей бессмысленности — хорошей, впрочем).

Кроме нашей семьи, семьи бабушки и ее детей (моих теток), были и другие семьи, для которых Катеринушка была родная и попав в которые не сидела сложа руки, вечно что-то делала, сама радовалась и радость эту и уют распространяла вокруг.

Легкий она была человек. Легкий во всех смыслах, и на подъем тоже. Соберется Катеринушка в баню и не возвращается. Сундучок ее стоит, а ее нет. И не очень о ней беспокоятся, так как знают ее обычаи — придет Катеринушка. Мать спрашивает свою матушку (а мою бабуш-

ку): «Где Катеринушка?», а бабушка отвечает: «Катеринушка закатилась». Такой был термин для ее внезапных уходов. Через несколько месяцев или через год Катеринушка так же внезапно появляется, как перед тем исчезла.

— Где ты была?

— Да у Марьи Ивановны! Встретила в бане Марью Ивановну, а у той дочь заневестилась: пригласили приданое справить!

— А где же Марья Ивановна живет?

— Да в Шлюшине!

(Так в Питере называли Шлиссельбург — от старого шведского «Слюсенбурх».)

— Ну, а теперь?

— Да к вам. Свадьбу третьего дня справили. Вспоминала Катеринушка про мою маму разные смешные истории. Пошли они вместе в цирк. Мама маленькой девочкой была с Катеринушкой в цирке первый раз и пришла в такой восторг, что вцепилась Катеринушке в шляпу, да вместе с вуалькой и содрала с нее...

Катеринушка только при своих ходила в платке, а на улице, да еще в цирке, бывала в шляпке. И в Александринский театр она со всей семьей дедушки и бабушки ходила. Помню, рассказывала, как в антрактах в аванложу приносили кипящий самовар и вся бабушкина семья пила чай.

Таков был обычай в «купеческом» Александринском театре, где и пьесы подбирались на вкус купеческий и мещанский (потому-то «Чайка» там и провалилась — ждали ведь фарса, тем более что и Чехов в этой среде был известен как юморист).



Катеринушка была вдовой мастера, погибшего во время какой-то заводской аварии. Она гордилась своим мужем, гордилась, что его ценили. У нее был и собственный дом в Усть-Ижоре, обращенный окнами на Неву, то есть на север, и так она любила свою Усть-Ижору и дом, что, бывало, рассказывала: «В мой дом солнышко два раза заглядывает — утром раненько поздоровается, а вечером, к закату, попрощается». Если учесть, что летом восход и закат сдвинуты к северу, то это, наверное, так и было. Но не зимой.

Никто не знал ее фамилию. Я у мамы спрашивал — не знала, но в паспорте у Катеринушки стояло отчество — Иоакимовна, и очень она не любила, если кто-нибудь называл ее Акимовной. Даже с обидой об этом рассказывала.

Как определить профессию этой милой вечной труженицы, приносившей людям столько добра (счастье входило вместе с ней в семью)? Я думаю, назвать бы ее следовало домашней портнихой.

Профессия эта совершенно сейчас исчезла, а когда-то она была распространенной. Домашняя портниха поселялась в доме и делала работу на несколько лет: перекраивала, перешивала, ставила заплатки, шила и белье, и пиджак хозяину — на все руки мастер. Появится такая домашняя портниха в доме, и начинают перебирать все тряпье и всей семьей советовать, как и что перешить, что бросить, что татарину отдать (татары-тряпичники ходили по дворам, громко кричали: «Халат-халат», и в доме всякую ненужность покупали за гроши).

Умерла она так же, как и жила: никому не доставив хлопот. Закатилась Катеринушка в 1941 году слабой одноглазой старухой. Услыхала она, что немцы подходят к любимой ее Усть-Ижоре, встала у моей тети Любы с места (жила тетя Люба на улице Гоголя) да и пошла в Усть-Ижору к своему дому. Дойти она не смогла и где-то погибла, верно, по дороге, так как немцы уже подошли к Неве. Привыкла она всю жизнь помогать тем, кто нуждался в ее помощи, а тут несчастье с ее Усть-Ижорой... Закатилась Катеринушка последний раз в жизни.

### О ПЕТЕРБУРГЕ МОЕГО ДЕТСТВА

Петербург и Ленинград — это совсем разные города. Не во всем, конечно, кое в чем они «смотрятся друг в друга». В Петербурге зревался Ленинград, а в Ленинграде мелькает Петербург его архитектуры. Но сходства только подчеркивают различия.

Первое впечатление детства: барки, барки, барки. Барки заполняют Неву, рукава Невы, каналы. Барки с дворами, с кирпичом. Катили выгружают барки тачками. Быстро-быстро катят их по железным полосам, вкатывают снизу на берег. Во многих местах каналов решетки раскрыты, даже сняты. Кирпич увозят сразу, а дрова лежат сложенными на набережных, откуда их грузят на телеги и развозят по домам. По городу расположены на каналах и на Невках дровяные биржи. Здесь в любое время года, когда это необходимо, можно купить дрова. Особенно березовые, жаркие. На Лебяжьей



канавке у Летнего сада пристают большие лодки с глиняной посудой — горшками, тарелками, кружками, бывают и игрушки, особенно любимые глиняные свистульки. Иногда продают и деревянные ложки. Все это привозят из района Онеги. Лодки и барки чуть-чуть покачиваются. Нева течет, покачиваясь мачтами шхун, боками барж, яликами, перевозящими через Неву за копейку, и буксирами, кланяющимися мостам трубами (под мостом трубы полагалось наклонять к корме). Есть места, где качается целый строй, целый лес: это мачты шхун у Крестовского моста на Большой Невке, у Тучкова моста на Малой Неве.

Есть что-то зыбкое в пространстве всего города. Зыбка поездка в пролетке или в извозчичьих санках. Зыбки переезды через Неву на яликах (от университета на противоположную сторону к Адмиралтейству). На булыжной мостовой потряхивает. При въезде на торцовую мостовую (а торцы были по «царскому» пути от Зимнего к Царскосельскому вокзалу, на Невском, обеих Морских, кусками у богатых особняков) потряхивание кончается, ехать гладко, пропадает шум мостовой.

Барки, ялики, шхуны, буксиры снуют по Неве. По каналам барки проталкивают шестами. Интересно наблюдать, как два здоровых молодца в лаптях (они упористее и, конечно, дешевле сапог) идут по широким бортам барки от носа к корме, упираясь плечом в шест с короткой перекладиной для упора, и двигают целую машину груженной дровами или кирпичом барки, а потом идут от кормы к носу, волоча за собой шест по воде.

Архитектура заслонена. Не видно реки и каналов. Не видно фасадов за вывесками. Казенные дома в основном темно-красного цвета. Стекла окон поблескивают среди красных дворцовых стен: окна мылись хорошо и было много зеркальных окон и витрин, полопавшихся впоследствии во время осады Ленинграда. Темно-красный Зимний, темно-красный Генеральный штаб и здание Штаба гвардейских войск. Сенат и Синод красные.

Сотни других домов красные: казарм, складов и различных «присутственных мест». Стены Литовского замка красные. Это страшная пересылная тюрьма — одного цвета с дворцом. Только Адмиралтейство не подчиняется — оно желтое с белым. Остальные дома также выкрашены добротнo, но в темные тона.

Трамвайные провода боятся нарушить «право собственности»: они не крепятся к стенам домов, как сейчас, а опираются на трамвайные столбы, заслоняющие улицы. Что улицы! — Невский проспект. Его не видно из-за трамвайных столбов и вывесок. Среди вывесок можно найти и красивые. Они карабкаются по этажам, достигают третьего — повсюду в центре: на Литейном, на Владимирском. Только площади не имеют вывесок, и от этого они еще огромнее и пустынее. А в небольших улицах висят над тротуарами золотые булочные крендели, золотые головы быков, гигантские пенсне и пр. Редко, но висят сапоги, ножницы. Все они огромные. Это тоже вывески. Тротуары перегорожены подъездами, козырьками, держащимися на металлических столбиках, опирающихся на противоположный от дома



край тротуара. По краю тротуара — нестройные ряды тумб. У очень многих старинных зданий встречаются вместо тумб вкопанные старинные пушки. Тумбы и пушки оберегают прохожих от наезда телег и пролетов. Но все это мешает видеть улицу, как и керосиновые фонари единого образца с перекладиной, к которой прислоняют фонарщики свои легкие лесенки, чтобы зажечь, потушить, заправить, почистить.

В частые праздники — церковные и «царские» — вывешиваются трехцветные флаги. На Большой и Малой Морских трехцветные флаги свешиваются на канатах, перетянутых через улицы от дома к противоположному.

Но зато какие красивые первые этажи главных улиц! Парадные двери содержатся в чистоте. Их полируют. У них красивые начищенные медные ручки (в Ленинграде их снимут в 20-е годы в порядке сбора меди для Волховстроя). Стекла всегда чистые. Тротуары чисто метут. Они украшены зелеными кадками или ведрами под водосточными трубами, чтобы дождевая вода меньше выплескивалась на тротуары. Дворники в белых передниках выливают из них воду на мостовую. Из парадных изредка появляются швейцары в синих с золотом ливреях — передохнуть воздухом. Они не только в дворцовых подъездах, но и в подъездах многих доходных домов. Витрины магазинов сверкают чистотой и очень интересны — особенно для детей. Дети оттягивают ведущих их за руки мам и требуют посмотреть в игрушечных магазинах оловянных солдатиков, паровозики с прицепленными вагончиками, бегущие по рельсам. Особенно интересен магазин Дойни-

кова в Гостином дворе на Невском, славящийся большим выбором солдатиков.

Аптеки видны издалека. В окнах аптек выставлены декоративные стеклянные вазы, наполненные цветными жидкостями: зелеными, синими, желтыми, красными. По вечерам за ними зажигают лампы.

Особенно много дорогих магазинов по солнечной стороне Невского («солнечная сторона» — это почти официальное название четных домов Невского). Запомнились витрины магазинов Тэта с поддельными бриллиантами. Посередине витрины устройство с вечно крутящимися лампочками: бриллианты сверкают, переливаются.

Асфальт — это теперь. А раньше — тротуары из известняка, а мостовые — булыжные. Известняковые плиты добывались с большим трудом, но зато выглядели красиво. Еще красивее были огромные гранитные плиты на Невском. (Они остались на Аничковом мосту. Многие гранитные плиты перенесены сейчас к Исаакию.) На окраинах бывали тротуары из досок. Вне Петербурга, в провинции, под такими деревянными тротуарами скрывались канавы, и, если доски изнашивались, можно было угодить в канаву, но в Петербурге даже на окраинах тротуары с канавами не делались.

Мостовые по большей части — булыжные, их надо было содержать в порядке. Летом приезжали крестьяне подрабатывать починкой булыжных мостовых и сооружением новых. Надо было подготовить грунт из песка, утрамбовать его вручную, а потом вколачивать тяжелыми молотками каждый булыжник. Работали сидя.



Мостовщики обматывали ноги и левую руку тряпками — случайно можно было попасть себе молотком по пальцам или по ногам. Смотреть на этих рабочих без жалости было невозможно. А как красиво подбирали они булыжник к булыжнику, плоской стороной кверху! Это была работа на совесть, работа художников своего дела. В Петербурге булыжные мостовые были особенно красивы: из разноцветных обкатанных гранитных камней. Особенно нравились мне булыжники после дождя или поливки. (О торцовых мостовых писалось много — в них также были своя красота и удобства. Но в наводнение 1824 года они погубили многих: всплыли и потащили за собой прохожих.)

Звуки Петербурга!

Конечно, в первую очередь вспоминаешь цоканье копыт по булыжной мостовой. Ведь и Пушкин писал о громе Медного Всадника «по потрясенной мостовой». Но цоканье извозчичьих лошадей было кокетливо-нежным. Этому цоканью мастерски умели подражать мальчишки, играя в лошадки и щелкая языком. Игра в лошадки была любимой игрой детей. Цоканье копыт и сейчас передают кинематографисты, но вряд ли они знают, что звуки цоканья были различными в дождь или в сухую погоду. Помню, как с дачи, из Куоккалы, мы возвращались осенью в город и площадь перед Финляндским вокзалом была наполнена этим «мокрым цоканьем» — дождевым. А потом — мягкий, еле слышный звук катящихся колес по торцам и глуховатый «вкусный» топот копыт по ним же — там, за Литейным мостом. И еще покори-

кивания извозчиков на переходящих улицу: «Э-эп!» Редко кричали «берегись» (отсюда — «брысь»): только когда лихач «с форсом» обгонял извозчичью пролетку. Ломовые, размахивая концом вожжей, угрожали лошадям (погоняли их) с каким-то всасывающим звуком. Кричали газетчики, выкликая названия газет, а во время первой мировой войны — и что-нибудь из последних новостей. (Приглашающие купить «выкрики» — пирожки, яблоки, папиросы — появились только в период нэпа.) На Неве гудели пароходы, но характерных для Волги криков в рупоры в Петербурге не было: очевидно, было запрещено. По Фонтанке ходили маленькие пароходики Финляндского пароходного общества с открытыми машинами. Виден был кочегар. Тут и свист, и шипение пара, и команды капитана!

Одним из самых «типичных» уличных звуков Петербурга перед первой мировой войной было треньканье трамваев. Я различал четыре трамвайных звонка. Первый звонок — перед тем как трамваю тронуться. Кондуктор (до войны — всегда мужчина в форме) на остановках выходил с задней площадки, пропускал всех сидящихся вперед, сам садился последним и, когда становился на ступеньку вагона, дергал за веревку, которая шла от входа к звонку у вагоновожатого. Получив такой сигнал, вагоновожатый трогал вагон. Эта веревка шла вдоль всего вагона по металлической палке с прикрепленными кожаными петлями, за которые могли держаться стоящие в трамвае. В любом месте трамвая кондуктор мог позвонить вагоновожатому. И это был второй тип



звонка. Вагоновожатый предупреждал неосторожных прохожих с помощью еще одного звонка, действовавшего от ножной педали. Здесь вагоновожатый звонил иногда довольно настойчиво, и звук этот часто слышался на улице с трамвайными линиями. Потом появились электрические звонки. Довольно долго ножные педальные звонки действовали одновременно с ручными электрическими. Грудь кондуктора была украшена многими рулонами с разноцветными билетами. Билеты разных цветов продавались по «станциям» — на участки пути, и, кроме того, были белые пересадочные билеты, с которыми можно было пересест в определенных местах на другой маршрут. Все эти маршруты указаны в старых путеводителях по Петербургу. Время от времени, когда кончался тот или иной отрезок пути и надо было брать новый билет, кондуктор громко возглашал на весь вагон: «Желтым билетам станция!» Или: «Зеленым билетам станция!» Или: «Красным билетам станция!» Интонация этих «возглашений» запомнилась мне на всю жизнь: в школу я ездил на трамваях.

Очень часто были слышны на улицах звуки военных оркестров. То полк шел по праздникам и воскресным дням в церковь, то хоронили генерала; ежедневно шли на развод караула к Зимнему преображенцы или семеновцы. На звуки оркестра сбегались все мальчишки: потребность в музыке была большая. Особенно интересно было, когда выделенные для похорон войсковые подразделения возвращались с кладбища: тогда полагалось играть веселую музыку. С веселыми маршами шли в церкви,

но, разумеется, не в Великий пост. Были и «тихие» звуки: звенели шпоры военных. За звоном своих шпор офицеры следили, шпоры часто делались серебряными. На Невском и на прилегающих улицах (особенно у Гостиного двора, на углу Невского и Садовой) торговцы продавали детям надутые легким газом взлетавшие шарики: красные, зеленые, синие, желтые и самые большие — белые, с нарисованными на них петухами. Около этих продавцов всегда было оживленно. Продавцов было видно издали по клубившимся над их головами связкам веселых шариков.

В моем детстве на улицах уже не продавали сбитень, но отец помнил и любил рассказывать о сбитне. Он хорошо подкреплял прохожих, особенно в мороз. Сбитенщик закутывал самовар в особый ватник, чтобы не остыл, и носил его на спине, а кран открывал из-под левого локтя. Сбитень — это смесь кипятка с медом и разными специями, чаще всего с корицей. По словам отца, сбитенщики в старину кричали: «Сбитню горячего!» Я запомнил слова отца: не «сбитня», а именно «сбитню».

А по утрам с окраин города, особенно с Выборгской стороны, доносились фабричные гудки. Каждый завод можно было узнать по гудку. Гудели три раза, созывая на работу, — не у всех были часы. Эти гудки были тревожными, призывными...

Как ребенка, меня всегда тянуло заглянуть за фасады домов: что там? Но об этом я больше узнавал из рассказов взрослых.

Магазины. Впрочем, помню те, в которые заходил с матерью: «Колониальные товары» (кофе,



чай, корица, еще что-то), «Бакалея», «Суровский магазин» (ткани, нитки), «Булочная», «Кондитерская», «Писчебумажный магазин». Слова «продукты» в нынешнем значении не было («продукты» — только «продукция чего-то»; «продукты сельского хозяйства» — стали говорить на моей памяти). На рынок ходили за «провизией». Продавцы назывались приказчиками. Помню дисциплину этих продавцов в магазинах «Масло». Стояли они на шаг назад от прилавка, заложив руки за спину. При появлении покупателя приказчик делал шаг ему навстречу и опускал руки. Это невольно заставляло покупателя к нему подойти. Масло и сыр давали пробовать на кончике длинного ножа.

Первые кинематографы. Совсем забыли, что на узкой Офицерской против нашего дома был кинематограф «Мираж». Он был сделан из нескольких магазинов, соединенных вместе. Но по субботам мы всей семьей ездили на Невский в кинематограф «Солейль». Он помещался в том же доме, что и «Пассаж», — около Садовой. Этот кинематограф был сделан из нескольких картин, соединенных вместе. Кроме основной картины (помню «Сто дней Наполеона», помню «Гибель «Титаника»» — это документальный фильм, оператор снимал всю пароходную жизнь и продолжал снимать кораблекрушение до того момента, когда погас свет, а потом снимал даже в спасательной лодке), обязательно давалась комическая (с участием Макса Линдера, Мациста и др.) и «видовая» картины. Последняя раскрашивалась часто от руки — раскрашивался каждый кадр,

и непременно в яркие цвета: зеленый — для зелени, синий — для неба. Однажды были на Невском в «Паризиане» (или «Пикадилли» — не помню).

Поразили камердинеры в ливреях и чуть ли не в париках.

Родители часто брали меня с собой в Мариинский театр. У родителей было два билетных абонементов в ложе третьего яруса. Спектакли были праздниками. На праздничность они и были рассчитаны. Дамы показывали бриллианты, сидели в первых рядах лож, обмахиваясь веерами — не от жары, а чтобы лучше блестели бриллианты. Во время балетов зал оставался полуосвещенным. Кшесинская вылетала на сцену вся сверкая бриллиантами. Снобы офицеры приходили, как правило, ко второму акту. В «Дон Кихоте» пропускали пролог. В антрактах красовались у барьера оркестра, а после спектакля офицеры стояли у артистического выхода или перед подъездом, рассматривали дам. Первым спектаклем в моей жизни был «Щелкунчик». Больше всего меня поразила падающий «снег»: в теплом зале!

На Страстной и к Пасхальной заутрене ходили на Почтамтскую улицу в домовую церковь Главного управления почт и телеграфов, где служил отец столоначальником. Пальто снимали в гардеробе, поднимались на второй этаж. Паркетные полы в церкви были хорошо натерты. Электричество спрятано за карнизы, и лампы горели электрические, что некоторые ортодоксально настроенные прихожане осуждали. Но отец гордился этим нововведением — это был его проект. Когда входила семья (наша



или другая), слугитель сразу нес венские стулья и ставил позади, чтобы в дозволенных для того местах службы можно было присесть отдохнуть. (Позже я узнал, что в ту же церковь ходила и семья Набоковых. Значит, мы встречались с Владимиром, но он был старше меня.)

Неравенство жителей Петербурга бросалось в глаза. Когда возводились дома, строители носили кирпичи на спине, быстро поднимались по доскам лесов с набитыми на доски планками вместо ступеней. По черным лестницам доходных домов дворники носили дрова тоже на спине, ловко забирая дрова со специальных козел, стоявших на дворе. На двор приходили старьевщики-татары, кричали: «Халат-халат!» Заходили шарманщики, и однажды я видел Петрушку, удивляясь ненатуральному голосу самого Петрушки (петрушечник вставлял себе в рот пищик, изменявший его голос). Ширма у петрушечника поднималась от пояса и закрывала его со всех сторон: он как бы отсутствовал.

Ходили мы смотреть столетних гренадер из Золотой роты у памятника Николаю Первому. Это были солдаты, служившие еще Николаю Первому. Их, оставшихся, собирали со всей России и привозили в Петербург.

Ходили мы и на разводы караула к Зимнему. Вся церемония происходила во дворе на специальной платформе. На развод семеновцы и преображенцы шли с музыкой.

Играли бравурные марши, оглушительно под аркой Генерального штаба отзывавшиеся эхом.

...Петербург был городом трагической и скрытой (во дворцах и за вывесками) красоты. Зимний — сплошь темный ночами (государь с семьей жили в Александровском дворце в Царском Селе). Веселое рококо дворца теряло свою кокетливость, было тяжелым и мрачным. Напротив дворца утопала во тьме крепость-тюрьма. Взметнувшийся шпиль собора — и меч и флюгер одновременно — кому-то угрожал.

Вьющиеся среди регулярно распланированных улиц каналы нарушали государственный порядок города.

Марсово поле пылило в глаза при малейшем ветре, а Михайловский замок словно прищуривался единственным замурованным окном комнаты, где был задушен император Павел.

В Александровском саду против Адмиралтейства существовали разные развлечения для детей (зимой катания на оленях, летом — зверинец и пруды с золотыми рыбками).

До чего же привлекательны для детей и обычаи, традиции! На вербную неделю в Петербург приезжали финны катать детей в своих крестьянских санках. И лошади были хуже великолепных петербургских извозчичьих лошадей, и санки были беднее, но дети их очень любили. Ведь только раз в году можно прокатиться на «вейке»! «Вейка» по-фински значит «брат», «братишка». Сперва это было обращение к финским извозчикам (кстати, им разрешалось приезжать на заработки только в вербную неделю), а потом сделалось названием финского извозчика с его упряжкой вообще.

Но дети любили именно победнее, но с лентами и бубенцами — лишь бы «поигрушечнее».



Квартира из пяти комнат стоила половину отцовского жалованья. Весной мы рано уезжали на дачу, отказываясь от квартиры, и нанимали ее снова в том же районе Мариинского театра осенью. Так семья сэкономила деньги.

Ездили мы обычно в Куоккалу за финской границей, где дачи были относительно дешевы и где жила петербургская интеллигенция — преимущественно артистическая.

Сейчас мало кто себе представляет, какими были дачные местности и дачная жизнь. Постараюсь рассказать о местности, с которой связано мое детство — о Куоккале (теперь Репино).

В «Спутнике по Финляндии» К. Б. Грэнхагена о Куоккала сказано мало и сухо: «Куоккала (42 килом. от СПб). Станция находится в одной версте от берега залива. В летнее время местность густо населена дачниками. Однако скученность построек и отсутствие хороших дорог являются крупным недочетом в ряду прочих, более или менее удовлетворительных условий дачной жизни. В особенности плохи дороги к северу от ж. д. станции. Песчаная местность, покрытая сосновым лесом, в общем, пригодна для дачной жизни. Имеются лавки, аптека и даже театр. Лучшие дачи расположены вдоль береговой линии и отдаются внаем за высокую плату. Недорогие дачи находятся к северу от ж. д. станции. Многие из них также заняты зимою. Имеется православная церковь». Далее мелким шрифтом напечатано любопытное сообщение: «В последние годы русской революции (имеется в виду революция

1905 года. — Д. Л.) здесь находили приют эмигранты, преследуемые русским правительством. Однако после обнаружения в окрестностях Куоккала (Хаапала) «фабрики бомб» финляндская администрация в силу закона 1826 г. пошла навстречу требованиям русских властей, ввиду чего многие эмигранты были арестованы и доставлены в петербургское охранное отделение».

О Куоккале, как интереснейшей дачной местности Петербурга, я говорил по телевидению в фильме о К. И. Чуковском «Огневой вы человек». Здесь жила летом малобогатая часть петербургской интеллигенции. Две дачи принадлежали зимогорам Анненковым (из этой дворянской семьи, сыгравшей большую роль в русской культуре, вышел и художник Юрий Анненков). На самом берегу против Куоккальской бухты была дача Пуни. Владелец ее, Альберт Пуни, принявший православие с именем Андрей (поэтому часть его детей были Альбертовичи, а другие Андреевичи), виолончелист Мариинского театра, был сыном автора балетной музыки и владельцем большого доходного дома (угол Гатчинской улицы и Большого проспекта Петроградской стороны). Его сын стал известным живописцем во Франции и до конца жизни любил писать пляжи, напомиравшие ему о его счастливом детстве.

Папу встречаем.

Мама с куоккальскими дамами сидит на скамейке, а я, как обычно, хожу, балансируя по рельсине. Рельсовый путь уходит в бесконечность —



к Петербургу, откуда должен на поезде приехать отец. Он привезет павловскую гигантскую землянику или еще что-нибудь вкусное, а иногда игрушку: серсо, игрушечную парусную яхточку, заводной пароходик (играть в воде мне особенно нравилось, и сохранилась даже фотография — я на море, по щиколотку в воде, в панамке и коротких штанишках, а у ног парусная игрушечная лодочка).

Жду, смотрю вдаль. И вот появляется мой человечек: пузатенький, с большой головой, в юбочке и курит. Это паровоз поезда. Круглое туловище — это котел. Большая голова — труба с раструбом, она дымится. А странная юбочка (паровоз, несомненно, мужчина, господин) — это предохранительная сетка, расширяющаяся книзу, к рельсам.

Приближается. Тонко, на заграничный лад, свистит (русские паровозы гудят басом, как пароходы). Потом подкатывает, работая колесами (любимая игра детей моего, пятилетнего возраста изображать собой паровоз, двигая локтями, как поршнями). Тянутся вагоны — синие, зеленые и красные, но значение цветов другое, чем у русских. Сейчас я уже точно не помню, кажется, синие вагоны — первого класса. Из синих вагонов выходят первыми финские кондукторы в черной форме, становятся у лесенки и помогают пассажирам выходить. Появляется отец и, целуя маму, рассказывает, с кем ехал. Постепенно все разъезжаются на финских двуколках. Несутся двуколки с быстротой ветра, а если пассажиров несколько, финн-хозяин стоит на оси колеса и управляет с ловкостью циркача. Но главное — скорость.

На границе с Оллилой (ныне Солнечное) были репинские «Пенаты». Между «Пенатами» и дачами Анненковых и Пуни построил себе дачу Корней Иванович Чуковский (помог ему в этом — и деньгами и советами — Илья Ефимович Репин). На мысе Лентулла по Аптекарской дорожке (теперь ее именуют Аптекарской аллеей) жил Горький. В те или иные летние сезоны жил Маяковский, наезжал Мейерхольд, жил художник и врач Кульбин (он, кстати, лечил и меня), приезжали к Репину Леонид Андреев, Шаляпин, Стасов и многие другие. Некоторых я встречал на Большой дороге (теперь Приморское шоссе) — главной улице Куоккалы, и в чудесном общедоступном парке сестер Ридингер, о котором не удосужился упомянуть автор путеводителя. По вечерам мы гуляли либо по самому берегу залива, по сырому, укатанному волнами песку, либо по бетонной дорожке, которая шла в глубине пляжа около заборов дач, выходящих к морю. На пляже было огромное количество деревянных будок, где можно было переодеться и в которых мы оставляли шезлонги, весла, удочки, купальные костюмы, простыни, игрушки. В хорошую погоду мы почти не уходили с пляжа. Брали с собой завтраки и бутылки с молоком, которые зарывали в тени за будками в сырой песок, чтобы молоко не скисло от тепла.

Куоккальские дачи имели заборы: всегда деревянные и всегда различные, пестро окрашенные. У заборов останавливались финские возки, и разносчики кричали: «Молоко», «Метана», «Ливки» (финны не произносили двух согла-



сных впереди слова: только вторую согласную). Разносчики часто были ярославцы, торговавшие зеленью, булками, пирожными. Корзинки с товарами носили на голове, подкладывая мягкий круг. Цыгане били в котел и кричали: «Лудить, паять...» (и еще что-то третье, что я уже забыл). За пределами дачной местности часто стоял цыганский табор. Работали честно и честно возвращали заказы.

Если погода безветренная, особенно утром — в предвестии жары, то, прислушавшись на берегу, можно было слышать басовитые гудки: у-у-у, у-у-у, у-у-у. Это в Куоккале слышен на пляже звон большого колокола Исаакиевского собора. Звонят во все колокола, но слышен только большой, самый большой колокол в городе. И в определенный час, пока еще пляж не наполнится людьми, мы бегали к морю послушать Исаакия.

Море становилось торжественным и значительным, когда еле слышно через воду долетал звук тяжелого колокола Исаакия. С тех пор я знаю, что такое «пуститься во все тяжкие». И я запомнил двойное значение этого выражения: мы бежали к морю «во все тяжкие» и слышали «тяжкий» колокол Исаакия.

А днем, в жару, пляж гудел, как улей, роем детских голосов, радостных, испуганных, когда окунались, озорных при игре, но всегда точно приглушенных водой, расплывающихся, нерезких. Эта музыка пляжа слышна и до сих пор, и до сих пор я ее очень люблю.

Что за чудо веселья, развлечений, озорства, легкости общения, театральных и праздничных экспромтов была эта Куоккала!

Куоккала была царством детей. На пляже слышался гомон детских голосов. К морю уходили на целый день, пропуская обеденное время, принятое зимой — в час дня. Игрушки, весла, спасательные пояса, зонты, купальные костюмы — все это хранилось в будках, стоявших на берегу иногда в два и даже в три ряда. У каждой дачной семьи была своя будка, часто своя лодка. От пляжа в море шли мостики, с которых было весело кувыркаться в воду. Мостики были и частные, и общественные — за деньги. По вечерам по берегу гуляли, любуясь закатом.

По воскресеньям на пляже где-нибудь играл оркестр — это значило, что было благотворительное представление. Представления были и в куоккальском театре. Небольшой оркестрик из четырех отставных немецких солдат ходил по улицам Куоккалы, останавливался перед какой-нибудь дачей и начинал играть. Начинал с «Ойры» — любимой финнами песенки. Если им махали рукой, они прекращали игру, но часто мы просили записать — в какой день им прийти играть танцы на дне рождения или на именины, когда собирались дети со всей округи.

В дни рождения и именины детей сад иллюстрировали китайскими фонариками, обязательно жгли фейерверк, впрочем, Горький на своей даче зажигал фейерверки и просто костры без всякого повода. Он любил огонь. Покупали фейерверки в пиротехническом магазине под Городской думой на Невском. На такие веселые вечера сбегались дети со всех дач. Дети бегали веселыми стайками по Куоккале и про-



давали благотворительные значки (в день Ромашки — в пользу туберкулезных, во время первой мировой войны — в пользу раненых). Интересы детей, их развлечения господствовали. Взрослые с удовольствием принимали участие в детских играх. Дух озорства проявлялся в местном театре, где выступал иногда и Маяковский, читали Репин, Чуковский, ставились подростками фарсы. Мальчишки пели озорные песни про пупсика, «большую крокодилу». И дети, и взрослые (иногда вместе, разновозрастными компаниями, а иногда небольшими группами) ходили на длинные прогулки. Раз в лето непременно ходили на музыку в Сестрорецкий курорт (выходили очень рано утром). Чаще ходили «на мельницу»: на Сестре-реке была мельничная запруда. «Мельница» (так мы называли всю местность) казалась мне красивейшим местом в мире. Молодежь ездила компаниями на велосипедах.

Вот в этой обстановке и расцветали озорная живопись, озорное сочинительство (пьес и стихов), по преимуществу для детей. Без этого детского и юношеского озорства нельзя понять многое в Чуковском, в Репине, в Пуни и в Анненкове.

И какие только национальности не жили в Куоккале: русские, финны — крестьяне, сдававшие дешевые дачи (с финскими мальчиками мы играли в прятки и другие шумные игры), петербургские немцы, финляндские шведы, петербургские французы и итальянская семья Пуни — с необыкновенно темпераментным стариком Альбертом Пуни во главе, вечным заводилой различных споров, в которых он

всегда и вполне искренне выступал как отчаянный русский патриот!

На благотворительных спектаклях стремились поразить неожиданностями. Ставились фарсы, шутили над всеми известными дачниками. Мой старший брат Миша играл в куоккальском театре в фарсе Е. А. Мировича (Дунаева) «Графиня Эльвира». Но были «серьезные» спектакли. Репин читал свои воспоминания. Чуковский читал «Крокодила». Жена Репина учила травоедению.

Почти все (кроме новичков) были знакомы друг с другом, ходили друг к другу в гости. Создавали благотворительные сборы, детские сады на общественных началах. Взрослые и дети вместе играли в крокет, в серсо, в рюхи. На даче у Пуни большими компаниями катались на «гигантских шагах», делали на них «звездочку», при которой «закрученный» другими катающийся взлетал очень высоко — почти вровень с макушкой столба. Пожилые играли в саду в винт и преферанс. Неторопливо беседовали.

Церковь была общественным местом, где собирались все, в том числе лютеране и католики, но стояли в ней не всегда полностью всю службу, а выходили на лужайку, где были врыты деревянные скамейки и можно было поговорить, посплетничать.

Во время войны Репин стал особенно религиозен и пел на клиросе. Религиозен стал и зять Пуни — Штерн. Он был немцем, но в начале первой мировой войны переменял фамилию на Астров, принял православие. С Мишей Штерном я дружил.



Одевались весело. Приятельница моей матери Мария Альбертовна Пуни, красивая черноглазая итальянка, носила на щиколотке ноги золотую браслетку (платья к четырнадцатому году поднялись и стали только чуть-чуть нависать над стопой). Девочки Анненковы смущали всех, нося брюки в своем саду. Сам Корней Иванович, вернувшись в 1915 году из Англии, куда он ездил с какой-то делегацией, стал ходить босиком, хотя и в превосходном костюме. А писатели — те выдумывали каждый себе костюмы: Горький одевался по-своему, Леонид Андреев по-своему, Стасов по-своему, Маяковский по-своему... Всех их можно было встретить на Большой дороге в Куоккале, они либо жили в Куоккале, либо приезжали в Куоккалу.

Люди искусства стали для нас всех если не знакомыми, то легко узнаваемыми, близкими, встречаемыми.

Свой куоккальский озорной характер Чуковский сохранял до конца жизни. Вот что мне рассказывала старый врач санатория Академии наук «Узкое» Татьяна Александровна Афанасьева.

Жил Чуковский обычно в центральном корпусе, в комнате двадцать шесть. Возвращаясь с прогулки, ловил ужей, которых в Узком (по-старинному — Ужское) было много. Навешивал ужей себе на шею и на плечи штук по пять, а затем, пользуясь тем, что двери в комнаты не запирались, подбрасывал их отдыхающим и наслаждался их испугом. Не позволял мешать себе во время работы и поэтому вывешивал на дверях своей комнаты плакат: «Сплю».

Веселая и озорная дачная жизнь Куоккала приобрела в 1914 году тревожные нотки. В сентябре ждали германского десанта в Финляндии. Финские полицейские заколачивали досками вышки дач (дачи в начале века строились непременно с башенками, откуда было видно море). Из фортов Кронштадта доносилась учебная стрельба, которой море придавало какой-то булькающий звук — точно хлопали открываемые бутылки шампанского. Было видно, как буксиры везли мимо фортов барки со щитами, по которым и шла учебная стрельба.

Сам я озорником не был, но озорников в искусстве любил с мальчишеских лет, разумеется, талантливых озорников. В Куоккале мы жили недалеко от «Пенат» Репина. Илья Ефимович очень покровительствовал Чуковскому, Пуни, Анненкову, Кульбину. С семьями Пуни и Анненкова наша семья дружила. Помню Мейерхольда, Леонида Андреева. Все они оригинальничали и озорничали в одежде, играли в рюхи, запускали змеев на пляже, жгли костры, увлекались фейерверками, домашними театрами, шутливыми выставками.

О Куоккала, как о родине европейского авангардизма, стоило бы мне написать отдельно. (Но тут надо потратить много времени на розыски материалов, а времени становится все меньше и меньше.) В студенческие годы огромное впечатление произвели на меня «Столбцы» Н. Заболоцкого. Я и до сих пор их очень люблю. Люблю веселое искусство — в том числе праздничный балет, классический, «мариинский». Люблю веселое искусство природы:



цветы, бабочек, тропические растения, водопады, фонтаны и бури (воду во всех ее шумных проявлениях). И еще люблю большие корабли, особенно парусные, «мирные» пушечные выстрелы в 12 часов с Петропавловской крепости. Летом 1915 года в Куоккале появились новые «зимогоры» — беженцы-поляки. И от них я получил первый урок уважения к другим нациям. Мы, мальчики, дразнили поляков словами «цото бэндзе!» («что-то будет!»), которые они часто произносили в своих тревожных разговорах. И вот однажды изящная полька обернулась к нам с улыбкой и ласково сказала: «Да, мальчики! «Цото бэндзе» и для вас, и для нас в этой войне». Нам стало стыдно. Мы не обсуждали между собой этот случай, но дразнить перестали.

И еще одно сильное впечатление в Куоккале.

В Пасхальную неделю, как и во всех русских православных церквях, в Куоккале разрешалось звонить всем и в любое время. Отец и мы, два брата, однажды (приезжали на дачи рано весной) ходили на колокольню звонить. До какой же степени было восхитительно слушать звон под самыми колоколами!

Был в Куоккале один случай, который «прославил» нас с братом среди всех дачников.

Ветер дул с берега (самый опасный). Мой старший брат снял синюю штору у нас в детской, водрузил ее на нашей лодке и предложил прокатиться «под парусом» вполне домашнему мальчику — внуку сенатора Давыдова. Домашний мальчик Сережа (он впоследствии, после второй мировой войны, работал архитектором-реставратором в Новгороде) пошел к своей ба-

бушке и спросил у нее разрешение прокатиться. Бабушка была франтиха с фиолетовыми глазами, сидела в шелковом платье стального цвета под зонтиком от солнца. Она спросила только — не промочит ли Сережа ноги: в лодке ведь всегда есть на дне вода. Велела Сереже надеть галоши. Сережа надел новые блестящие галоши и сел в лодку. Все это происходило на моих глазах. Поехали. Ветер, тихий, как всегда у берега, усилился вдали. Лодку погнало. Я наблюдал с берега и увидел: синий парус медленно наклонился и исчез. Бабушка, как была в корсете и с зонтиком, пошла по воде, простирая руки к любимому Сереже. Дойдя до глубокой воды, бабушка с фиолетовыми глазами упала без чувств. А на берегу, за загородкой из простыней, загорал проректор Петербургского университета красавец Прозоровский. Он наблюдал за бабушкой и, когда та упала, бросился ее спасать. И, — о ужас! — в одних трусах. Он поднял бабушку с фиолетовыми глазами и понес ее к берегу. А я изо всех сил побежал домой. Подбежав к нашей даче, я замедлил шаг и постарался быть спокойным. Мать спросила, очевидно догадавшись все же, что что-то случилось: «На море все спокойно?» Я немедленно ответил: «На море все спокойно, но Миша тонет».

Эти мои слова запомнились и вспоминались потом в нашей семье сотни раз. Они стали нашей семейной поговоркой, когда что-либо внезапно случалось неприятное.

А в море в это время происходило следующее. Домашний мальчик Сережа, конечно, не умел плавать. Брат стал его спасать и велел сбро-



сильные галоши. Но Сережа не хотел — то ли чтобы не ослушаться бабушки, то ли потому, что было жаль блестящих галош с медными буквами «С.Д.» («Сережа Давыдов»). Брат пригрозил: «Сбрасывай, дурак, или я сам тебя брошу». Угроза подействовала, а от берега уже гребли лодки и лодки.

Вечером приехал отец. Брата повели на второй этаж пороть, а затем отец, не изменяя своим привычкам, повел нас гулять вдоль моря. Как полагалось, мы с братом шли впереди родителей. Встречные говорили, указывая на моего брата: «Спаситель, спаситель!», а «спаситель» шел мрачный, с зареванной физиономией. Хвалили и меня за «мудрую» выдержку. А однажды, в особенно сильную бурю, кто-то из встречных сказал мне: «На море все спокойно, но четыре будки подмыло и опрокинуло». Я немедленно побежал на море смотреть. Бури я люблю и до сих пор, не люблю лишь обманчивого берегового ветра.

Лето длилось бесконечно долго. И в город я возвращался каждый раз повзрослевшим.

И опять «связь времен».

Дачевладелец серб А. Шайкович, у которого мы снимали дачу последние три года перед революцией, оказывается, переводил «Слово о полку Игореве» на сербский язык. После революции он был югославским консулом в Финляндии и издал свой перевод «Слова» на сербский язык в Гельсингфорсе.

Наиболее важный и в то же время наиболее трудный для своей характеристики период в формировании моих научных интересов — конечно, университетский.

Я поступил в Ленинградский университет несколько раньше положенного возраста: мне не было еще семнадцати лет, не хватало нескольких месяцев. Поступить в университет было трудно.

Университет переживал самый острый период своей перестройки. Активно способствовал или даже проводил перестройку «красный профессор» Николай Севастьянович Державин — известный болгарист и будущий академик.

Появились профессора «красные» и просто профессора. Впрочем, профессоров вообще не было — звание это, как и ученые степени, было отменено. Защиты докторских диссертаций совершались условно. Так же условно было и деление «условной профессуры» на «красных» и «старых» — по признаку, кто как к нам обращался: «товарищи» или «коллеги». «Красные», обращаясь к студентам, говорили «товарищи», «старые» профессора говорили студентам «коллеги». Я не принимал во внимание этого условного признака и ходил ко всем, кто мне казался интересным.

Я поступил на факультет общественных наук. Состав студентов был не менее пестрый, чем состав «условных профессоров»: были пришедшие из школы, но в основном это были уже взрослые люди с фронтов гражданской войны, донашивавшие свое военное обмундирование.



Были «вечные студенты» — работавшие и учившиеся по десять лет, были дети высокой петербургской интеллигенции, в свое время воспитывавшиеся с гувернантками и свободно говорившие на двух-трех иностранных языках. На факультете были отделения. Было общественно-педагогическое отделение, занимавшееся историческими науками, было этнолого-лингвистическое отделение, названное так по предложению Н. Я. Марра, — здесь занимались филологическими науками. Этнолого-лингвистическое отделение делилось на секции. Я выбрал романо-германскую секцию, но сразу стал заниматься и на славяно-русской.

Обязательного посещения лекций в те годы не было. Не было и общих курсов, так как считалось, что общие курсы мало что могут дать фактически нового после школы. Студенты сдавали курс русской литературы XIX века по книгам, прочесть которых надо было немало. Зато процветали различные курсы на частные темы («спецкурсы» по современной терминологии). Так, например, В. Л. Комарович вел по вечерам два раза в неделю курс по Достоевскому, и лекции его, начинаясь в шесть часов вечера, затягивались до двенадцатого часа. Он погружал нас в ход своих исследований, излагал материал как научные сообщения, и посещали его лекции многие маститые ученые. Я принимал участие в занятиях у В. М. Жирмунского по английской поэзии начала XIX века и по Диккенсу, у В. К. Мюллера по Шекспиру; слушал введение в германистику у Брима, введение в славяноведение у Н. С. Державина, историографию древней русской литера-

туры у члена-корреспондента АН СССР Д. И. Абрамовича; принимал участие в занятиях по Некрасову и по русской журналистике у В. Е. Евгеньева-Максимова; англосаксонским и среднеанглийским занимался у С. К. Боянуса, старофранцузским у А. А. Смирнова; слушал введение в философию и занимался логикой у А. И. Введенского, психологией у Басова (этот замечательный ученый очень рано умер), древнецерковнославянским языком у С. П. Обнорского, современным русским языком у Л. П. Якубинского; слушал лекции Б. М. Эйхенбаума, Б. А. Кржевского, В. Ф. Шишмарева и многих, многих других; посещал диспуты между формалистами и представителями традиционного академического литературоведения. Пытался учиться пению по крюкам (ничего не вышло). Посещал концерты симфонического оркестра в филармонии.

Путешествовал мало: не позволяло здоровье, условия для поездок по стране после гражданской войны были трудные, родители снимали на лето дачу, и надо было ею пользоваться целиком. Мы часто ездили на дачу в Токсово, и я интересовался историей тех мест (здесь еще в 20-е годы жили шведы и финны, знавшие местные исторические предания, которые я записывал).

Все кругом было интересно до чрезвычайности, а если вспомнить и о событиях чисто литературных, возможность пользоваться всеми книжными новинками, печатавшимися на Печатном Дворе, библиотекой университета и библиотекой редчайших книг в Доме книги, где по со-



вместительству работал отец, то единственно, в чем я испытывал острый недостаток в своих занятиях, — это во времени.

Ленинградский университет в 20-е годы представлял собой необыкновенное явление в литературоведении, а ведь рядом, на Исаакиевской площади, был еще институт истории искусств (Зубовский институт), и существовала интенсивная театральная и художественная жизнь. Все это пришлось на время формирования моих научных интересов, и нет ничего удивительного в том, что я растерялся и многого просто не успевал посещать.

Я окончил университет в 1928 году, написав две дипломные работы: одну — о Шекспире в России конца XVIII — начала XIX века, другую — о древнерусских повестях (о патриархе Никоне). К концу моего учения надо было еще зарабатывать на хлеб, службы было не найти, и я подрядился составлять библиотеку для Фонетического института иностранных языков. Институт был богатый, но деньги мне платили неохотно. Я работал в Книжном фонде на Фонтанке в доме № 20, возглавлявшемся Саранчиным. И снова поразительные подборки книг из различных реквизированных библиотек частных лиц и дворцов, редкости, редкости и редкости! Было жалко подбирать это все для Фонетического института. Я старался брать расхожее, необходимое, остальное, наиболее ценное, оставляя неизвестно кому.

Что дало мне больше всего пребывание в университете? Трудно перечислить все то, чему я научился и что я узнал в университете. Дело ведь не ограничивалось слушанием лекций и уча-

ствием в занятиях. Бесконечные и очень свободные разговоры в длинном университетском коридоре. Хождения на диспуты и лекции: в городе была тьма-тьмущая различных лекториев и мест встреч — начиная от Вольфилы на Фонтанке, зала Тенишевой (будущий ТЮЗ), Дома печати и Дома искусств и кончая небольшим залом в стиле модерн на самом верху Дома книги, где выступали Есенин, Чуковский, различные прозаики, актеры. Посещения Большого зала филармонии, где можно было встретить всех тогдашних знаменитостей, особенно из музыкального мира. Все это развивало, и во все эти места открывал доступ университет, ибо обо всем наиболее интересном можно было узнать от товарищей по университету и институту истории искусств. Единственно, о чем я жалею, это о том, что не все удалось посетить. Но из занятий в университете больше всего давали мне «общие курсы», семинарии и просеминарии с чтением и толкованием тех или иных текстов.

Во-первых, занятия по логике. С первого курса я посещал практические занятия по логике профессора А. И. Введенского. Когда лекции и занятия Введенского прекратились, один из наших «взрослых» студентов, помню, из числа участников гражданской войны, организовал группу по занятиям логикой на квартире у профессора С. И. Поварнина, автора известного учебника логики. Мы ходили к нему и читали в русском переводе «Логические исследования» Гуссерля, изредка для лучшего понимания текста обращаясь к немецкому оригиналу. Поварнин неоднократно повторял нам: язык



надо знать хотя бы немного, хотя бы постоянно прибегая к словарю, ибо переводчикам научных и технических книг доверять нельзя. И это мы ощущали.

Настоящей школой понимания поэзии были занятия в семинарии по английской поэзии начала XIX века (тогда говорили «семинарий», а не «семинар», как сейчас) у В. М. Жирмунского. Мы читали с ним отдельно стихотворения Шелли, Китса, Вордсворта, Байрона, анализируя их стиль и содержание. Жирмунский обрушил на нас всю свою огромную эрудицию, привлекал словари и сочинения современников, толковал поэзию всесторонне — и с биографической, и с историко-литературной, и с философской стороны. Он нисколько не снисходил к нашим плохим знаниям того, другого и третьего, к слабому знанию языка, символики, да и просто английской географии. Он считал нас взрослыми и обращался с нами как с учеными коллегами. Недаром он называл нас «коллеги», церемонно здороваясь с нами в университетском коридоре. Это подтягивало. Нечто подобное мы ощущали и на семинарских занятиях по Шекспиру у Владимира Карловича Мюллера, на занятиях старофранцузскими текстами у Александра Александровича Смирнова, среднеанглийской поэзией у Семена Карловича Боянуса.

Но истинной вершиной метода медленного чтения был пушкинский семинар у Л. В. Щербы, на котором мы за год успевали прочесть всего несколько строк или строф. Могу сказать, что в университете я в основном учился «медленному чтению», углубленному филологическому

пониманию текста. Иному — занятиям в рукописных отделениях и библиотеках — учил нас В. Е. Евгеньев-Максимов. Дав нам рекомендацию в архив, он как бы невзначай приходил туда и тут же проверял, как мы работаем, все ли у нас благополучно. (А однажды он возил меня с собой и к коллекционеру Кортатову в Новую Деревню за розысками каких-то документов.) Он пробуждал в нас инициативу поисков, учил не бояться архивов. Боязнь архивов он считал своего рода детской болезнью начинающего ученого, от которой он должен избавиться как можно быстрее.

Увлекали меня и лекции Е. Тарле. Но лекции эти учили главным образом ораторскому искусству. Часто впоследствии, когда я в 40-х годах начал преподавать на историческом факультете Ленинградского университета, я вспоминал, как останавливался Тарле, якобы подыскивая подходящее слово, как потом «стрелял» в нас этим найденным словом, поражавшим своей точностью и запоминавшимся на всю жизнь.























